Как жили в блокаду

Даниил Александрович Гранин

SHOUT
SHARE
IT

- Даниил Гранин

Даниил Гранин
Как жили в блокаду

КАК ЖИЛИ В БЛОКАДУ

Мог бы написать, как они жили, мог бы, как мы жили. Блокадный город был рядом, из окопов без бинокля был виден силуэт города, распластанный по горизонту. Когда его бомбили, у нас в Шушарах земля чуть вздрагивала. Мы видели, как поднимались каждый день черные столбы пожаров. Над нами, мягко шелестя, неслись в город снаряды, а потом плыли бомбардировщики. Нам в окопах жилось тоже не сладко, жизнь там в среднем измерялась неделей-другой. Было голодно. Мороз был тоже общий, что у нас, что в городе –30–35° С, и все же грех было сравнивать с ленинградской бедой.

Блокада состояла не только из голода; по-настоящему понять быт блокадной жизни я сумел много позже, кода мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой». Мы записывали рассказ за рассказом, 200 рассказов, примерно 6000 страниц. Затем мы стали отбирать то, что годилось для книги, и то, что не годилось; бОльшая часть, конечно, не уместилась, это были подробности повседневной жизни, которые казались нам очевидными. Много позже я стал понимать, что не все сводилось к голоду, к обстрелу. На самом деле блокада состояла из многих лишений. Жизнь разваливалась не сразу, но непоправимо, мы плохо представляем себе размеры и нарастающий ужас той катастрофы.

ВОДА

Ее не стало. Некоторое время еще работали колонки, была вода в прачечных. Потом все замерзло — краны на кухне, в ванной уже даже не сипели, превратились в воспоминание. Ходили за снегом, снега было много, но его надо было растопить, а как? На животе? Отопления уже нет. На буржуйке? Ее раздобыть надо.

Кое-где в квартирах сохранялись плиты, а то и печи. Но чем их топить? Где дрова? Какие были, быстро растащили, сожгли. Власти выделяли в районах деревянные дома, разрешали их

разбирать на дрова. Легко сказать «разбирать»: ломами, пилами — работа непосильная для голодных, быстро слабеющих людей. Легче было у себя в комнатах выламывать паркет (там, где он был), еще удобней было топить буржуйки мебелью. Шли в ход стулья, столы, книги для растопки.

На черном рынке буржуйка появилась быстро, покупать надо было за большие деньги, а потом — за хлеб. А что делать, все отдашь. Зима 1941–1942 года, как назло, лютовала: –30–35° С. У нас на фронте в землянках тоже пылали буржуйки, тоже шла добыча дров, но согрев шел еще от пяти-шести солдат, что теснились на нарах; а в городской комнате от двух-трех дистрофиков тепла не набрать.

Буржуйка — это не все, к ней нужен, извините, дымоход, то есть трубы; их надо вывести наружу, в форточку, которую как-то приспособить, чтобы в нее натопленное не уходило.

Питер был европейский город; когда в блокаду все его привилегии рухнули, стало ясно, что куда лучше было бы переносить блокаду в старые времена, а еще лучше — в пещерные; первобытная жизнь вдруг предстала комфортной.

В конце марта 1942 года я получил увольнительную и решил навестить нашу квартиру. По дороге я с дотов отломил несколько сосулек, понаслаждался их чистой водой. У Невы женщины добывали воду из проруби. Доставали ее поварешками, рукой было не дотянуться, не зачерпнуть; береговые жители ходили на Неву, на Фонтанку, на Карповку, долбили лед. Наколют лед и несут домой. «Проблема подняться по обледенелой лестнице, дотянуть ведро и не поскользнуться», — жаловалась мне Поля, единственная, кто осталась в живых в нашей большой коммунальной квартире. Я и сам еле забрался по этой загаженной лестнице; она мне помнится во всех подробностях, в желтых ледяных наростах от мочи, и горы мусора, и всюду горы замерзшего кала. Это было открытие для меня, туалеты ведь не работали, все вываливали на лестницу, в лестничный пролет.

Поля этой зимой уже стопила бОльшую часть мебели из всей квартиры. Из моей комнаты — деревянную кровать, книжные полки, стул; я ее никак не упрекнул.

«Цивилизация, — сказала она, — будь она проклята».

СВЕТ

А ведь когда-то горело электричество, лампочки в абажуре в коридоре остались, я пощелкал выключателями, они не отозвались.В первые же бомбежки стали заклеивать окна

бумажными крестами. Чтобы сохранить стекла. Потом почему-то кресты эти плохо защищали от бомбежек; постепенно окна зачернели опустелыми рамами. Ударная волна снарядов и бомб в конце концов выбивала стекло; окна принялись завешивать одеялами, коврами, чтобы кое-как защититься от снега и ветра. В комнатах стало совсем темно. Не стало ни утра, ни дня, постоянная тьма. Свет начали добывать коптилками, их мастерили из консервных банок, покупали на рынках, туда заливали керосин; его не стало — добывали масло: лампадное, машинное, трансформаторное, не знаю еще какое… Из ниток — их выдергивали из одежды, скручивали фитиль. Огонек кое-как светил, коптил, над ним можно было руки замерзшие погреть; масло ухитрялись выпросить в церквях, у артиллеристов, а еще, это я после войны узнал, у монтеров «Ленэнерго», они брали его из масляных выключателей, из трансформаторов. И продавали.

В ретроспективе все эти добычи выглядят иначе; не воровали, а выпрашивали, выменивали, добыть свет было так же трудно, как в каменном веке.

Радио молчало, стучал метроном, в какие-то часы передавали последние известия.

ТУАЛЕТ

Все-таки попробуйте представить, что значит жизнь без туалета, как опорожниться? Тащить каждый раз на улицу кастрюлю, мыть ее чем-то — сил нет. Горы отбросов вырастали быстро, закрывали выход из дома; извините, описывать все это в подробностях не comme il faut, но список приличий в блокадном городе сильно сократился; прошел год, еще полгода, как люди обходились без туалетов, уже дальше не знаю; удивительней другое — как огромный город в весну 1942 года избежал эпидемий. В домах лежали непохороненные покойники, лежали в квартирах жертвы голода, морозов, попавшие под снаряды, лежали в подворотнях; я видел мертвецов в заснеженном трамвае, я сам туда зашел укрыться от ветра. Напротив меня сидел совершенно белый пожилой человек без шапки — наверное, кто-то ее взял.

Невероятными усилиями воскресшие люди весной очищали город от трупов, от нечистот; нетронутыми оставались разбомбленные дома, разбитые трамваи.

На Марсовом поле в конце мая появились грядки.

Мои личные воспоминания выцвели, затуманились, смешались с чужими мемуарами.

ГОЛОД

Везут на санках покойника — самая распространенная фотография блокадной поры. Это всем запомнилось. Но умирали не только от голода — снаряды, бомбежка, мороз… Причина смерти была едина: блокада. Зато известно было, сколько снарядов упало, сколько бомб, есть примерные цифры пожаров; нет таких причин, как отчаяние, смерти близких, безнадежность, уныние.

Попытайтесь представить себе квартиру, самую обычную, но благоустроенную, где в буфете стоит посуда, тарелки, вилки, ножи; на кухне кастрюли, сковородки — и все это бесполезно, потому что нигде ни крошки еды. Люди живут в привычной обстановке благоустроенной жизни, где висит телефон, стоит самовар, в шкафах кофточки, брюки, утюг, простыни, мясорубка — всюду предметы для еды — и все бесполезно. Жизнь замирала и уходила в обстановке живого благополучия, иногда людям казалось, что естественней гибель в тюремной камере, на лагерных нарах, чем гибель семьи в своей квартире.

Голод сводил с ума, человек постепенно терял все представления, что можно, что нельзя. Он готов жевать кожу ремня, вываривать клей из обоев, варить засохшие цветы.

Раньше меня ужасало людоедство. На войне я понял, что не любовь, а «война и голод» правят миром. На фронте бывали дни, когда мы оставались без еды и день, и два, и три и готовы были жевать хоть свои портянки, чем угодно надо было набить желудок. Блокадникам было тяжелее, им казалось, их голод бессрочный. Сковородка пахла жареным, в хлебнице остался еще слабый запах…

Разговор с Григорием Романовым был коротким: Ленинградская блокада — героическая эпопея, а вы изобразили не подвиг народа, а страдание и ужасы голода, все к этому свели; получается, что вы развенчиваете историю великой заслуги, стойкости людей, как они сумели отстоять город; вам интересно, как люди мучились. Это чуждая нам идеология.

Примерно такую отповедь мы получили в обкоме партии, когда публикация «Блокадной книги» была запрещена. Второй раз то же самое выслушал Иосиф Ефимович Хейфиц, знаменитый кинорежиссер, лауреат всяких премий, когда ему запретили ставить фильм о блокаде по нашей книге.

Между тем в его сценарии были замечательные герои помимо нашего Юры Рябинкина, там действовала молодая девушка, расклейщица афиш в городе; она возникала на улице,

расклеивала плакаты, обращения к жителям с призывами держаться, помогать друг другу, расклеивала объявления об организации похорон, о выдаче кипятка; ни снаряды, ни бомбежки не могли убить ее, она воплощала душу этого города, его стойкость.

Для «Блокадной книги» мы с Адамовичем прежде всего искали дневники блокадников — они были дороже, чем личные свидетельства. Блокадники, которых мы записывали, вспоминали свою жизнь спустя тридцать с лишним лет. Особенность любого дневника — достоверность; обычно автор излагает не прошлое, а сегодняшнее, он не столько вспоминает, сколько делится своими воспоминаниями, сообщает новости, рассказывает то, что произошло сегодня.

Большой террор, репрессии отучили питерцев вести дневники. Занятие стало слишком опасным. В блокаду эта естественная потребность вернулась с неожиданной силой, люди почувствовали себя не столько событиями, сколько участниками истории, им захотелось сохранить, записать неповторимость происходящего. Но было еще одно обстоятельство — появилось сокровенное ощущение духовной пищи; удивительно, но дневник помогал выживать. Странное, призрачное чувство; умственная работа, духовное осмысление поддерживало. После публикации «Блокадной книги» нам стали приносить дневники, и чем дальше, тем больше; вдруг оказалось, что, несмотря на все ужасы, страдания, люди записывали себя. Подробности своей жизни, подробности еды.

Вот дневник главного инженера Пятой ГЭС Льва Абрамовича Ходоркова — дневник бесценный именно своими деталями.

26 декабря, наступают самые тяжелые времена блокады, а между тем: «Жданов сказал, что самое тяжелое для Ленинграда позади <…> стоят турбины, из пяти стоят четыре котла, в городе нет топлива, из 95 человек, числящихся по списку, на работу вышли 25, остальные больны, ослабли или умерли».

5 января 1942 года: «Хлебозаводы без энергии, станция работает одним котлом на бойлерную <…> нет дров, население ломает дощатое прикрытие витрин».

9 января 1942 года: «Остались без топлива больницы, госпитали, дома, все свозят на электростанции, где можно железной дорогой, где трамваем, где автомашиной, уголь стал для Ленинграда кровью, и этой крови все меньше. Мощности едва хватает на хлебозаводы и некоторые пищевые предприятия».

12 января: «В городе много пожаров от времянок».

14 января: «Окончен монтаж котла под антрацит, нужна ручная забросска. Нет здорового человека, пригодного для этой

работы».

Я цитирую лишь отдельные строчки из этого замечательного дневника, который вести было тоже подвигом.

Иногда я вычитывал неизвестные мне подробности. В июне месяце по Неве поплыли трупы красноармейцев, днем и ночью, один за другим, один за другим.

Каждый дневник по-своему осмысливает трагедию города. В каждом дневнике есть талант наблюдательности, понимание того, как драгоценны подробности этой невероятной жизни блокадных людей.